



18+

Аня Эдельберг

Плейлист для моих похорон

Аня Эдельберг

Плейлист для моих похорон

«Издательские решения»

Эдельберг А.

Плейлист для моих похорон / А. Эдельберг — «Издательские решения»,

Переслушала весь плейлист, треки которого тщательно отбирала для своей смерти. Зачем? А зачем люди готовят «смертный узел»: тапочки и платье, саван и свечи? Чтобы избавить близких отхлопот? Точно нет. Темнота, я тебя вижу. Я делаю вид, что готова. Я делаю вид, что мне не страшно. Вот, смотри, у меня есть платье и тапочки. Песни и хороводы. Теперь веришь?

Содержание

(русская народная хороводная)	8
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Плейлист для моих похорон

Аня Эдельберг

© Аня Эдельберг, 2026

ISBN 978-5-0071-0596-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Плейлист для моих похорон

*Бай, бай, да люли,
Хоть сегодня умри.
Сколочу тебе гробок
Из дубовых досок.
(русская народная колыбельная)
Затакт*

— Раз, два, три, четыре...

— Ты играешь? Беги!

— Свет! Скорее выключай!

Темные прятки — это когда весело, но страшно. А кто не боится темноты? Даже Димка боится, поэтому и считает так громко. Если в темноте шуметь — то ты уже не один. А еще можно спрятаться за спиной у воды, и тебя все равно не найдут. Потому что темно.

Ирка, как всегда, залезет в мамин сундук, и надо делать вид, что она хорошо спряталась, а потом поскорее найти, надолго ее не хватает. На самом деле играем взаправду только мы с Димкой, Ирка еще маленькая, ничего не понимает.

Я прячусь за стиралкой в ванной.

Димка уже перестал считать, я почти различаю его шаги. Сердце гулко бьется. Это в ванной так слышно или вообще?

Скрипит дверь маминой комнаты. Сначала найдет Ирку.

— Туки-туки Лёлька! — вдруг орет Дика над ухом.

— А-а-а-а! — ору я и вылезаю из-за машинки.

Лёлька ревет в сундуке.

Димка включает свет, открывает сундук.

— Ты чего ревешь?

— Ты меня не нашел, — зло плачет Ирка.

— Ну и хорошо, что не нашел, значит, ты выиграла! Смысл в том, чтобы тебя не нашли! — говорю я.

— Нет! Надо, чтобы нашли! — Ирка вылезла из сундука, под ней что-то хрустнуло.

У мамы тут прятались конфеты. Ученики надарили.

Димка, не раздумывая ни секунды, достает коробку и сгребает конфеты горстью.

— Мне тоже дай, спалился — поделился!

— И мне тоже, — пищит Ирка.

— Ага, нетушки.

Мы налетаем на Димку, щекочим его с двух сторон. Димка тянется от нас, Ирка теряет равновесие, хватается за меня, мы падаем, коробка рвется, конфеты разлетаются по комнате.

Поспешно собираем конфеты, укладываем в рваную коробку. На полу остается конверт.

— А это что?

— Не трогай, вдруг это деньги, мама на что-то собирает.

— Тут написано, — Ира поспешно складывает печатные буквы в слово, — Что такое «пох — Ор — он»?

— Дай сюда! — Дима выхватывает конверт, — «Плейлист для моих похорон». Ну, это не тебе. Не трогай.

Едим конфеты. Взяли только по одной, остальное положили. Димка не смотрит на меня. А я смотрю на него. Мне хочется спросить. У кого похороны? Кто умер? Может, мамин коллега? Почему тогда для «моих» похорон?

Приходит мама, потом папа, мы ужинаем и молчим.

Перед сном в голове шумно. Копошится и крутится неприятное, никак не выкинуть его из головы. Оно свербит и смотрит из темноты.

Трек 1. Крутится, вертится шар голубой.

— Привет, пап!

— Привет, родная! — папа ходит с трудом, говорит половиной рта, но я этого не замечаю. То есть вижу, конечно, и что с того? Знаю, что не буду жалеть папу. На самом деле я на него злюсь. За то, что презирает врачей и на каждое мое «сходи, тебе надо, у тебя похоже был инсульт» гневно отмахивается. А я боюсь отцовского гнева. Когда папа гневается, я сжимаюсь в комок и хочу вылезти из кожи. Я не хочу, чтобы папа гневался. Поэтому просто не замечаю ни его неровной, отяжелевшей походки, ни грязных засаленных пятен от еды на его рубашке — папа иногда ест мимо рта. Ну и что с того. Просто живем дальше.

— Ты будешь чай? Кофеек? — папа щелкает чайником, хочет меня накормить, открывает холодильник и начинает по очереди предлагать все, что там находит. Так всегда.

— Нет, я на минутку. Дурацкое платье, скажи? Какое-то серое, — это мне попало на глаза большое зеркало в зале. Свет падает не так, как я привыкла у себя дома, и неожиданно платье кажется мышинным и несклепистым.

— Прекрасное платье, — папа неуклюже обнимает меня. Точнее, загребает и прижимает к себе. Мы замираем. Я снова маленькая, а папа меня любит просто так.

— Родная моя, единственная, — бормочет он, а я делаю вид, что не расслышала. Я даже не помню, сказала ли я ему, что люблю. И что вообще ответила. Как попрощалась. Как одевалась, надевала пальто, шапку. Ботинки. Когда я последний раз на него посмотрела? Промелькнуло ли у меня желание обнять его еще раз? Сказать «спасибо» за кофеек? Или я, как всегда, была вся в делах, вся в заботах, прямо мать Тереза? Всегда бегом, всегда между делом. Я такая вся занятая и значительная, такая вся несчастная и задерганная, и нет у меня времени на всякие там «просто посидеть». А папа никогда и не просил ничего, просто спрашивал:

— Ты не останешься?

И все.

Ты не останешься, папа, еще чуть-чуть? Хоть на пять минут? Хотя бы и во сне. Я очень скучаю.

Кто принес папе этот вирус, разве важно? Наверное, для меня было важно — тогда. Сейчас — нет. Я не знала, что мой ученик не ходит в школу, потому что на карантине. Его мама извинилась и сообщила мне об этом уже потом, после того, как я заразилась. И после того, как заболел папа. Можно ли было этого избежать? Наверное нет. Наверное, пришло время — и все. Папа устал. «Разве это жизнь?» — как-то раз спросил он маму, когда она сваливала в блендер суп и куски мяса, чтобы перебить и сделать пюре. Папа работал, глотал, как мог.

От больницы он сразу отказался, а дежурный врач и не настаивал. Выписали дежурную таблетку, которая никому еще не помогла, и отправили домой лечиться. А через пару дней —

всё: скорая, реанимация, нет, больше никому нельзя, поедет один. Папа уже не мог сопротивляться, хотя больше всего на свете не хотел умирать один. в больнице.

Позвонили рано, не было и семи. Я проснулась и все поняла. Почему позвонили мне первой, а не маме?

Муж, в последнее время далекий и чужой, неожиданно тепло обнял, как раньше. Как будто мы друг друга любим. Все хлопоты он взял на себя.

Позвонила маме, сказала. А потом собралась и пошла на работу. Пела и скакала, как зайчик, потом как медведь. «I am strong! I am brave!» — бойко кричат мои маленькие ученики, прогоняя «английского» волка. Волк уходит, уроки кончаются, а я цепенею, я устала так, что в голове ни одной мысли. Что я чувствую? Я не знаю и не хочу знать. Сегодня фортепиано, на обед сварить пюре с курицей, не забыть про экскурсию. Найти черное платье. И детям черное? Есть наряд черной снежинки, в блестках и фатине. Вряд ли подойдет. Пусть будет разноцветное. Папе бы понравилось.

Накануне пеку блины. Собираем стол, всякое вкусное — торжественно, как на праздник, но не радостно. Папа приезжает на микроавтобусе, лежит важный, деловой, в коричневом костюме — кажется, он надевал его на мою свадьбу? Мы поем «покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего...». Мелодия спокойная и легкая, мажорная, как в колыбельной. Дыхание мешает, его то мало, то много, оно не слушается ритма. Но кто будет петь, если я стану плакать?

«...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси Создатель мя и рекый ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем...»

Иди, папа, мы тебя догоним.

Застолье похоже на праздник. Только все знают, что нет никакого праздника. Все молчат. Нужна музыка. А какую музыку слушают, когда хоронят? Кто же знает, я еще никогда никого не хоронила. Едим блины и салаты, включаем «Шар голубой». Папа часто напевал эту песенку.

Трек 2.

Заплетися, плетень, заплетися,

Ты завейся труба золотая,

Завернися лента шелковая,

Что на море сера утица

Потопила малых детушек,

Что во меду, во патоке,

Что во ясной сохранности.

(русская народная хороводная)

— Маам?

— Да.

— А чего вы с папой не развелись? Зачем это все надо было?

Мама вздыхает, потом усмехается, поджимает губы.

— Я уехала от него однажды к родителям, в Уськаман (так мама называет Усть-Каменогорск). Тебя забрала, тебе годик был. Оставила тебя бабушке и поехала обратно, к отцу. Выясняли отношения. Решила остаться — ради тебя. Чтобы у тебя была нормальная семья, отец. Так что ради тебя и терпела.

— Это вранье! Ничего не ради меня! Мне было бы нормально, если бы вы жили отдельно и любили меня порознь.

— Легко сказать. Ты-то что не разводишься? Сама вечно всем недовольна, жалуешься, Алексей такой, Алексей сякой, с детьми не помогает, посуду не моет! Одиноко ей, видите-ли!

Я ошарашенно моргаю, ну не наглость ли, лезть в мои дела! Хочу ответить зло, но мама продолжает, как ни в чем ни бывало:

— Ну раздражал он меня, да! Ты это хотела услышать?! Вот раздражал и все! — мама грохочет ящиками комода, бестолково передвигает вещи.

— Ты его провоцировала. С тобой вообще невозможно ужиться. Ты токсичная.

— Токсичная! Напридумывали умных слов, а ума ни на грош. А с тобой ужиться можно? У тебя хоть нормальный муж. Не бьет, не гуляет. Вот отец твой ненормальный был. С головой того. Сама знаешь. Больной...

Я слышала эту историю много раз. Держала в руках папин ледоруб, он зачем-то хранился в шифоньере в прихожей. Как предмет обязательный для всех приличных людей. Ты вот калоши надень, на улице дождь. А я ледоруб.

Папа был жертвой советской романтики — на последнем курсе бросил МИФИ и поступил на геолога. Получил то, что хотел: горы, походы, костры, собственноручно собранную коллекцию редких минералов. Личное знакомство с щитомордником и еще какими-то ядовитыми тварями были для него вроде ордена, который он предъявлял при каждом удобном случае.

А в один из походов папа упал в ущелье, где пролежал так долго, что почти умер.

Я всегда думала, что Бог дал папе вторую жизнь, потому что мне суждено было родиться. Потому что я должна была быть хорошей девочкой, утешением маме с папой в старости. Для этого Бог и надоумил врачей спасти папу, а дыру в его черепе залатать чем-нибудь крепким, например, титановой пластиной. Папа разрешал потрогать это место на своей макушке, но мне не особо хотелось.

То, что он теперь инвалид, папа тщательно скрывал абсолютно ото всех, даже от мамы. И когда они познакомились, мама знать не знала, что в какой-то момент заботливый и понимающий мужчина превращается в монстра. Так в папе и жило две сущности, не смешиваясь и не сталкиваясь. Добрый и любящий папа. И монстр.

Проблема чудовищ не в том, что они не такие, как все. А в том, что чудовищное в одном человеке кормит и растит чудовищное в другом.

Для мамы это решалось просто: она обзывала отца шизофреником и просто не разговаривала неделями. А я решала задачку со звездочкой: как уместить в голове обоих пап.

Я дочь монстра. Я не падала в ущелья и не скользила по канатам через каньоны. Но я так же, как отец, была оборотнем — неожиданно для самой себя: гнев обрушивался лавиной, неминуемой и неподконтрольной ничему, гнев, не ведающий ни правил морали, ни жалости, ни сострадания. Этой смертоносной волной накрывало всех, кто был рядом.

Но об этом лучше спросите у моих детей. Или у психологов моих детей, которые будут выслушивать их долгие рассказы о психованной матери. Я скандалила по поводу и без, выливали неугодный суп прямо на капризные головы. Я выдирала страницы первых прописей и разбивала об пол детские гаджеты. Я обзывала детей ровно теми же словами, что слышала в детстве. Эти слова вытатуированы на изнанке моего черепа, и я с ними живу. Дерьмо собачье. Скотина. Чтоб ты сдохла. Дряннь.

Потом, когда волна гнева отступала, я билась головой о стену, потому что не хотела быть собой. Потому что они, мои дети, — моя жизнь, моя любовь, они то, ради чего я просыпаюсь по утрам. Я не хотела им такой матери и таких слов, они их не заслужили, что бы ни сделали.

Так я поняла, что не умею любить.

— Так ты будешь разбирать вещи, или нет? — мама застыла надо мной, угрожающе потрясая дырявым свитером.

— Да, давай дальше.

От папы остались несколько шерстяных свитеров, носки, книги по программированию, коллекция редких минералов, кожаный летный шлем, резиновый противогаз. Куча БАДов и витаминов. «Мужская сила», «Таежный тигр». Мне смешно. Папа ушел в восемьдесят три, неужели есть жизнь после восьмидесяти? Но мама даже и не думает смущаться. С неотвратимостью электрички она собирает это добро в пакет и протягивает мне.

— Нужны? Забирай.

Мне смешно, потому что стыдно и неловко, я тянусь за следующей коробкой. Закрыто. Внутри письма.

— Это письма, — сообщаю маме. — Хочешь оставить?

— Нет, забирай. Ничего мне не нужно.

Мне обидно за папу и неловко за маму. Я смотрю в пол — на цветастый советский ковер, который постелили только после ухода папы. В пору моего детства полы в квартире были голыми и холодными.

Вечером закрываюсь и читаю.

Раньше люди писали письма на бумаге. По бумаге можно было узнать отправителя, вот этот вырвал лист из тетради в клетку, а этот ел пирожки, пока писал письмо, а вот этот специально ходил в канцелярский отдел и выбрал мелованную, с вензелями и фигурными скобками по краям. Потом письма аккуратно складывались и хоронились в конвертах, а на конверты приклеивались марки. Марки с городами, с цветами, с Эйнштейном и Чайковским. На ощупь марки гладкие, нежные, сплошное наслаждение в мини-формате, выбери свое и отправь по почте.

Я перебираю конверты руками, сортируя по именам. Письма говорят со мной шелестящим шепотом, шершавыми голосами ушедших близких.

Все эти семейные истории случились до моего рождения и никогда не обсуждались. У папы был брат, Геннадий. И сестра, оказывается. С сестрой папа разорвал все связи, когда та поселила в их родительскую квартиру какую-то свою подругу, а папа остался без жилья. Но его сестра столько раз просила вернуться домой и заняться квартирным вопросом, иначе жилплощадь пустует и ее могут забрать.

Сестра работала заведующей кафедрой иностранной литературы в Таджикистане, ее туда распределили после аспирантуры. Там же она вышла замуж за сильно пьющего человека и родила дочь. От своего мужа моя тетка, получается, ушла через какое-то время. А дочь их, моя двоюродная сестра, умерла в полтора года. Я хотела продолжения ее истории, счастливого конца, искала другие письма, но их не было.

Сейчас бы моя тетка была девяностолетней старухой. Интересно, она потом вышла замуж или нет? Жаль, что они разорвали связь. Я не представляю, как можно перестать писать, зво-

нить и что-то выяснять, если у тебя есть сестра. Я единственный поздний ребенок, сестра или брат были мечтой моего детского одиночества.

Смысл жизни — общение. Так часто говорил папа. Ни разу в жизни не видела папу ни с друзьями, ни с братом, дядей Геней. Папа в Москве, дядя Гена — в Кирове. Не ездили в гости на дни рождения, не звонили, чтобы поздравить с новым годом, не писали писем. Писала только тетя Гета, жена дяди Гены, коротко и по делу. А мы с мамой раз в год ездили к ним в гости, почему-то без папы. Дядя Гена много шутил и смеялся, а у тети Геты было синее платье.

Письма, перевязанные красной лентой, как иллюстрация к бульварному роману, лежали особняком. Всего одно письмо чужим почерком, женским, в конверте с погашенной маркой. Остальные без марок, штемпелей и адреса, запечатанные, но так и не отправленные, от папы этой самой женщине.

«Лара, любовь моя, как тяжело без тебя. Мне снилось, что я хожу по снегу со своей Кировой, она идет по следу, а я не поспеваю за ней, утопаю в снегу. Так и проснулся, потерявшись. Я не умею про любовь, прости мне мою немощь, поэтому просто пишу: жизнь моя, нежный мой ангел, как же хочется тебя снова увидеть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.